

Иосиф  
БРОДСКИЙ

*Остановка  
в пустыне*



АЗБУКА

Санкт-Петербург

## ИОСИФ БРОДСКИЙ

Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде, в еврейской семье. Он по сей день живет в своем родном городе, в одной квартире с родителями. Отец Иосифа Бродского, фотограф по профессии, в настоящее время пенсионер.

Пятнадцати лет, по окончании восьмого класса, Бродский оставил школу. После этого он серьезно занялся самообразованием, изучил польский и английский языки. Он посвятил много времени глубокому знакомству с польской, английской и американской поэзией, классической мифологией, религиозной философией и т. д.

Писать стихи Бродский начал в 1958 году. Очень скоро он получил признание Анны Ахматовой как талантливейший лирик своего поколения. В декабре 1963 года, когда Бродский находился в психиатрической лечебнице в ожидании ареста, Ахматова адресовала ему такое посвящение на одном из своих поэтических сборников: «Иосифу Бродскому, чьи стихи кажутся мне волшебными».

В марте 1964 года суд в Ленинграде приговорил Иосифа Бродского к пяти годам административной высылки как «тунеядца», не занимающегося общественно полезным трудом. Поэта выслали в Архангельскую область на севере России, где он был вынужден выполнять тяжелую физическую работу. Но в ноябре 1965 года Бродскому разрешили вернуться. С того времени Иосиф Бродский продолжает жить в Ленинграде, пишет стихи и делает поэтические переводы.

Величайшим поэтом-лириком Бродский считает Джона Донна. Известно сильное стихотворение Бродского «Большая элегия Джону Донну» (1963). Двумя годами позже появились «Стихи на смерть Т. С. Элиота», написанные

в подражание стихотворению Одена «Памяти Йейтса» (1939). Сейчас (в 1970 году) Иосиф Бродский заканчивает книгу переводов из английских поэтов-метафизиков для ленинградского издательства. Он также недавно перевел пьесу ирландского писателя Брендана Бехана «The Quare Fellow».

В ленинградских литературных альманахах 1966 и 1967 годов напечатаны четыре стихотворения Иосифа Бродского, но подавляющее большинство произведений поэта в Советском Союзе не опубликовано. Летом 1969 года Иосифа Бродского приглашали на встречу «Интернационала поэтов» в Лондоне и на «Фестиваль двух миров» в Сполето (Италия), однако ему пришлось отказаться от этих приглашений.

*(1970)*

...Men must endure  
Their going hence, even as their coming hither:  
Ripeness is all.

*King Lear, Act V, Scene 2*

# *Холмы*

## РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС

*Евгению Рейну, с любовью*

Плывет в тоске необъяснимой  
среди кирпичного надсада  
ночной кораблик негасимый  
из Александровского сада,  
ночной фонарик нелюдимый,  
на розу желтую похожий,  
над головой своих любимых,  
у ног прохожих.

Плывет в тоске необъяснимой  
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.  
В ночной столице фотоснимок  
печально сделал иностранец,  
и выезжает на Ордынку  
такси с больными седоками,  
и мертвецы стоят в обнимку  
с особняками.

Плывет в тоске необъяснимой  
певец печальный по столице,  
стоит у лавки керосинной  
печальный дворник круглолицый,  
спешит по улице невзрачной  
любовник старый и красивый.  
Полночный поезд новобрачный  
плывет в тоске необъяснимой.

Плывет во мгле замоскворецкой  
пловец в несчастье случайный,

блуждает выговор еврейский  
на желтой лестнице печальной,  
и от любви до невеселья  
под Новый год, под воскресенье,  
плывет красotka записная,  
своей тоски не объясняя.

Плывет в глазах холодный вечер,  
дрожат снежинки на вагоне,  
морозный ветер, бледный ветер  
обтянет красные ладони,  
и льется мед огней вечерних  
и пахнет сладкою халвою,  
ночной пирог несет сочельник  
над головою.

Твой Новый год по темно-синей  
волне среди моря городского  
плывет в тоске необъяснимой,  
как будто жизнь начнется снова,  
как будто будут свет и слава,  
удачный день и вдоволь хлеба,  
как будто жизнь качнется вправо,  
качнувшись влево.

*28 декабря 1961*

## БОЛЬШАЯ ЭЛЕГИЯ ДЖОНУ ДОННУ

Джон Донн уснул, уснуло всё вокруг.  
Уснули стены, пол, постель, картины,  
уснули стол, ковры, засовы, крюк,  
весь гардероб, буфет, свеча, гардины.  
Уснуло всё. Бутыль, стакан, тазы,  
хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда,  
ночник, белье, шкафы, стекло, часы,  
ступеньки лестниц, двери. Ночь повсюду.  
Повсюду ночь: в углах, в глазах, в белье,  
среди бумаг, в столе, в готовой речи,  
в ее словах, в дровах, в щипцах, в угле  
остывшего камина, в каждой вещи.  
В камзоле, в башмаках, в чулках, в тенях  
за зеркалом, в кровати, в спинке стула,  
опять в тазу, в распятыи, в простынях,  
в метле у входа, в туфлях. Всё уснуло.  
Уснуло всё. Окно. И снег в окне.  
Соседней крыши белый скат. Как скатерть  
ее конек. И весь квартал во сне,  
разрезанный оконной рамой насмерть.  
Уснули арки, стены, окна, всё.  
Булыжники, торцы, решетки, клумбы.  
Не вспыхнет свет, не скрипнет колесо...  
Ограды, украшенья, цепи, тумбы.  
Уснули двери, кольца, ручки, крюк,  
замки, засовы, их ключи, запоры.  
Нигде не слышен шепот, шорох, стук.  
Лишь снег скрипит. Всё спит. Рассвет не скоро.  
Уснули тюрьмы, замки. Спят весы  
среди рыбной лавки. Спят свиные туши.



Дома, задворки. Спят цепные псы.  
В подвалах кошки спят, торчат их уши.  
Спят мыши, люди. Лондон крепко спит.  
Спит парусник в порту. Вода со снегом  
под кузовом его во сне сипит,  
сливаясь вдалеке с уснувшим небом.  
Джон Донн уснул. И море вместе с ним.  
И берег меловой уснул над морем.  
Весь остров спит, объятый сном одним.  
И каждый сад закрыт тройным запором.  
Спят клены, сосны, грабы, пихты, ель.  
Спят склоны гор, ручьи на склонах, тропы.  
Лисицы, волк. Залез медведь в постель.  
Наносит снег у входов нор сугробы.  
И птицы спят. Не слышно пенья их.  
Вороний крик не слышен, ночь, совиный  
не слышен смех. Простор английский тих.  
Звезда сверкает. Мышь идет с повинной.  
Уснуло всё. Лежат в своих гробах  
все мертвецы. Спокойно спят. В кроватях  
живые спят в морях своих рубах.  
Поодиночке. Крепко. Спят в объятьях.  
Уснуло всё. Спят реки, горы, лес.  
Спят звери, птицы, мертвый мир, живое.  
Лишь белый снег летит с ночных небес.  
Но спят и там, у всех над головою.  
Спят ангелы. Тревожный мир забыт  
во сне святыми — к их стыду святому.  
Геенна спит, и Рай прекрасный спит.  
Никто не выйдет в этот час из дому.  
Господь уснул. Земля сейчас чужда.  
Глаза не видят, слух не внемлет боле.  
И дьявол спит. И вместе с ним вражда  
заснула на снегу в английском поле.  
Спят всадники. Архангел спит с трубой.  
И кони спят, во сне качаясь плавно.

И херувимы все — одной толпой,  
обнявшись, спят под сводом церкви Павла.  
Джон Донн уснул. Уснули, спят стихи.  
Все образы, все рифмы. Сильных, слабых  
найти нельзя. Порок, тоска, грехи,  
равно тихи, лежат в своих силлабах.  
И каждый стих с другим, как близкий брат,  
хоть шепчет другу друг: чуть-чуть подвинься.  
Но каждый так далек от райских врат,  
так беден, пуст, так чист, что в них — единство.  
Все строки спят. Спит ямбов строгий свод.  
Хореи спят, как стражи, слева, справа.  
И спит виденье в них летейских вод.  
И крепко спит за ним другое — слава.  
Спят беды все. Страданья крепко спят.  
Пороки спят. Добро со злом обнялось.  
Пророки спят. Белесый снегопад  
в пространстве ищет черных пятен малость.  
Уснуло всё. Спят крепко толпы книг.  
Спят реки слов, покрыты льдом забвенья.  
Спят речи все, со всею правдой в них.  
Их цепи спят; чуть-чуть звенят их звенья.  
Все крепко спят: святые, дьявол, Бог.  
Их слуги злые. Их друзья. Их дети.  
И только снег шуршит во тьме дорог.  
И больше звуков нет на целом свете.

Но, чу! Ты слышишь — там, в холодной тьме,  
там кто-то плачет, кто-то шепчет в страхе.  
Там кто-то предоставлен всей зиме.  
И плачет он. Там кто-то есть во мраке.  
Так тонок голос! Тонок, впрямь игла.  
А нити нет... И так он одиноко  
плывет в снегу. Повсюду холод, мгла...  
Сшивая ночь с рассветом... Так высоко!  
«Кто ж там рыдает? Ты ли, ангел мой,  
возврата ждешь, под снегом ждешь, как лета,

любви моей? Во тьме идешь домой.  
Не ты ль кричишь во мраке?» — Нет ответа.  
«Не вы ль там, херувимы? Грустный хор  
напомнило мне этих слез звучанье.  
Не вы ль решились спящий мой собор  
покинуть вдруг. Не вы ль? Не вы ль?» — Молчанье.  
«Не ты ли, Павел? Правда, голос твой  
уж слишком огрублен суровой речью.  
Не ты ль поник во тьме седой главой  
и плачешь там?» — Но тишь летит навстречу.  
«Не та ль во тьме прикрыла взор рука,  
которая повсюду здесь маячит?  
Не ты ль, Господь? Пусть мысль моя дика,  
но слишком уж высокий голос плачет».  
Молчанье. Тишь. — «Не ты ли, Гавриил,  
подул в трубу, а кто-то громко лаает?  
Но что ж, лишь я один глаза открыл,  
а всадники своих коней седлают.  
Всё крепко спит. В объятьях крепкой тьмы.  
А гончие уж мчат с небес толпою.  
Не ты ли, Гавриил, среди зимы  
рыдаешь тут, один, впотьмах, с трубою?»  
«Нет, это я, твоя душа, Джон Донн.  
Здесь я одна скорблю в небесной выси  
о том, что создала своим трудом  
тяжелые, как цепи, чувства, мысли.  
Ты с этим грузом мог вершить полет  
среди страстей, среди грехов и выше.  
Ты птицей был и видел свой народ  
повсюду, весь, взлетал над скатом крыши.  
Ты видел все моря, весь дальний край.  
И Ад ты зрел — в себе, а после — в яви.  
Ты видел также явно светлый Рай  
в печальнейшей — из всех страстей — оправе.  
Ты видел: жизнь, она как остров твой.  
И с Океаном этим ты встречался:

со всех сторон лишь тьма, лишь тьма и вой.  
Ты Бога облетел и вспять помчался.  
Но этот груз тебя не пустит ввысь,  
откуда этот мир — лишь сотня башен  
да ленты рек, и где, при взгляде вниз,  
сей страшный суд почти совсем не страшен.  
И климат там недвижим, в той стране.  
Оттуда всё как сон больной в истоме.  
Господь оттуда — только свет в окне  
туманной ночью в самом дальнем доме.  
Поля бывают. Их не пашет плуг.  
Года не пашет. И века не пашет.  
Одни леса стоят стеной вокруг,  
и только дождь в траве огромной пляшет.  
Тот первый дровосек, чей тощий конь  
вбежит туда, плутая в страхе чащей,  
на сосну взлезши, вдруг узрит огонь  
в своей долине, там, вдали лежащей.  
Всё, всё вдали. А здесь неясный край.  
Спокойный взгляд скользит по дальним крышам.  
Здесь так светло. Не слышен синий лай.  
И колокольный звон совсем не слышен.  
И он поймет, что всё — вдали. К лесам  
он лошадь повернет движеньем резким.  
И тотчас вожжи, сани, ночь, он сам  
и бедный конь — все станет сном библейским.

Ну, вот я плачу, плачу, нет пути.  
Вернуться суждено мне в эти камни.  
Нельзя придти туда мне во плоти.  
Лишь мертвой суждено взлететь туда мне.  
Да, да, одной. Забыв тебя, мой свет,  
в сырой земле, забыв навек, на муку  
бесплодного желанья плыть вослед,  
чтоб сшить своею плотью, сшить разлуку.  
Но, чу! пока я плачем твой ночлег  
смущаю здесь, — летит во тьму, не тает,

разлуку нашу здесь сшивая, снег,  
и взад-вперед игла, игла летает.  
Не я рыдаю — плачешь ты, Джон Донн.  
Лежишь один, и спишь в шкафах посуда,  
покуда снег летит на спящий дом,  
покуда снег летит во тьму оттуда».

Подобье птиц, он спит в своем гнезде,  
свой чистый путь и жажду жизни лучшей  
раз навсегда доверив той звезде,  
которая сейчас сокрыта тучей.  
Подобье птиц, душа его чиста;  
а светский путь, хотя, должно быть, грешен,  
естественней вороньего гнезда  
над серою толпой пустых скворешен.  
Подобье птиц, и он проснется днем.  
Сейчас — лежит под покрывалом белым,  
покуда сшито снегом, сшито сном  
пространство меж душой и спящим телом.  
Уснуло всё. Но ждут еще конца  
два-три стиха и скалят рот щербато,  
что светская любовь — лишь долг певца,  
духовная любовь лишь плоть аббата.  
На чье бы колесо сих вод ни лить,  
оно все тот же хлеб на свете мелет.  
Ведь если можно с кем-то жизнь делить,  
то кто же с нами нашу смерть разделит?  
Дыра в сей ткани. Всяк, кто хочет, рвет.  
Со всех концов. Уйдет. Вернется снова.  
Еще рывок! И только небосвод  
во мраке иногда берет иглу портного.  
Спи, спи, Джон Донн. Усни, себя не мучь.  
Кафтан дыряв, дыряв. Висит уныло.  
Того гляди и выглянет из туч  
Звезда, что столько лет твой мир хранила.

\* \* \*

Воротишься на родину. Ну что ж.  
Гляди вокруг, кому еще ты нужен,  
кому теперь в друзья ты попадешь?  
Воротишься, купи себе на ужин

какого-нибудь сладкого вина,  
смотри в окно и думай понемногу:  
во всем твоя, одна твоя вина,  
и хорошо. Спасибо. Слава Богу.

Как хорошо, что некого винить,  
как хорошо, что ты никем не связан,  
как хорошо, что до смерти любить  
тебя никто на свете не обязан.

Как хорошо, что никогда во тьму  
ничья рука тебя не провожала,  
как хорошо на свете одному  
идти пешком с шумящего вокзала.

Как хорошо, на родину спеша,  
поймать себя в словах неоткровенных  
и вдруг понять, как медленно душа  
заботится о новых переменах.

1961